

Николай Толстиков

Искушение

1.

Прозвище Болонка злые языки прилепили отцу Флегонту Одинцову уже в зрелых годах, когда он был в протопопах, приклеили намертво за его задорно ниспадающую на самые глаза седую, будто извалянную в муке, чёлочку, за мелкую в кости, но чересчур подвижную фигурку, а пуще — за вспыльчивый нрав, когда старичок напоминал маленькую злобную собачонку, готовую отважно вцепиться в чью-нибудь широкую штанину. Хотя порывы эти отец Флегонт умел в себе усмирить: тут же начинал безошибочно потягивать в ту сторону, куда ветер дул, и за долгую службу ни разу не подвергся опале и все возможные награды получил.

Было ему за восемьдесят; в епархии давно числился за штатом, хотя в храме, где верховодили теперь молодые священники, ещё иногда служил.

Держал он «худобу»: в кирпичном теплом гараже возле дома в стойке трескуче бляели, стуча копытцами по настилу, две круторогие козы.

— Эх, миленькие животинки! — отец Флегонт каждое утро приносил им пойло и, наддав зелёного с клевером сенца, подлезал с ведёрком с натянутой поверху марлей к тугому козьему вымени.

И сегодня с дойкой старик управился споро, повесив на ворота гаража замок, бережно понёс ведёрко с парным молоком через двор и с продышками на лестничных площадках взобрался на четвёртый этаж.

Василиса ещё спала — в лицее выходной. Отец Флегонт осторожно приоткрыл дверь в спальню и залюбовался разметавшейся во сне девушкой. Господи, как время летит! «И всё для неё, всё для неё...»

Пусть спит.

Есть ещё время погулять по улице. Старик любил этот ранний утренний час, особенно весной, когда ярко и радостно светило поднимавшееся солнце, под ногами похрустывал настывший за ночь в лужицах ледок, а уже с застрех крыш принималась робко звенеть капель. Отец Флегонт неторопливо брёл по улочке, даже не встречая ещё прохожих — над крышами домов начинали только куриться из печных труб первые дымки. Доходил он всегда до приметного в улице места — стоящих в каре и намертво сцепившихся могучими сучьями

столетних лип, под которыми голубел крашеной вагонкой на стенах дом, мало чем отличный от соседних. Но Одинцов помнил здесь, на этом месте, хоромы другие: двухэтажные, барские или купеческие, и до того ветхие, с провалившимися потолками и полами, что семья, вселённая сюда после революции, теснилась кое-как в паре комнат внизу...

В первую военную осень и направлялся сюда к зазнобушке на короткую побывку перед отправкой на фронт он, двадцатилетний лейтенант Флегонт Одинцов, пытаясь унять в себе противное тягостное чувство, неотступно сосущее сердце. Была тому причина...

Парашют, запряганный под болотную мшистую кочку, нашёл поздний грибник. Диковинный роскошный трофей он протащил напоказ по пристанционному посёлку и напоролся на участкового милиционера. Тот недолго соображал, что к чему: хвастуна за ушко и звякнул по телефону куда надо.

Взвод солдат прочёсывать лес повели два лейтенанта НКВД — только что после училища — Клинов и Одинцов. Ещё сельсоветчики снарядили им в подмогу десятка два переполненных боевым духом стариков, свистнули и допризывную молодёжку, комсомольцев. Винтовки были только у солдат, по пистолету — у лейтенантов, остальные вооружились кто чем: вилами, колами, топорами.

Но трое парашютистов с высоко поднятыми руками сами вышли на опушку леса.

К Клинову, засевавшему в кабинете председателя сельсовета, на допрос их водили поодиночке. Флегонт прошёл в «предбанник», прислушался. Из-за неплотно прикрытой двери доносились громкие восклицания Клинова вперемешку с матюгами. Сквозь щель Одинцов увидел лицо однокашника, злое, с выступившими на скулах багровыми пятнами.

— Ты будешь говорить правду, гад?!

Капризный, красиво очерченный рот Клинова хищно кривился, блестящие белые зубы закусывали алую нижнюю губу. Лейтенант отклонился назад и смачно, с оттяжкой, пнул острым носком сапога в какой-то тёмный мешок, лежащий на полу. Раздался стон, и Одинцов, обмирая, различил

окровавленного человека, шевелившегося возле ног Клинова.

— Будешь говорить?! Будешь говорить?!—пылая раздумывавшимися щеками, всё больше распался Клинов, волтузя сапогами дёргавшееся на полу скрюченное тело.

Человек, страшно вскрикнув, поднялся на колени и на четвереньках, запрокидывая залитое кровью распухшее лицо, пополз к Одинцову. Тот не заметил, что дверь предательски отворилась и он, остолбенелый, торчит на пороге на виду.

— Товарищ, милый, дорогой! Вы хоть мне поверьте! Мне, командиру Красной Армии! Не было иной возможности из плена бежать... Мы же сразу сдались вам. Чего же ещё он хочет?!

По разбитому лицу диверсанта текли слёзы, прожигая в запёкшейся кровавой коросте на щеках светлые проточины. Он, обнимая Одинцова за ноги, ещё что-то шептал распухшими чёрными губами. Флегонт наклонился, чтобы помочь ему подняться, но, вздрогнув от окрика и топота солдатских сапог, поспешно выпрямился, пряча, как школьник, за спиной руки.

Солдаты, подхватив пленного под локти, оттащили его в дальний угол кабинета. Клинов, ехидно улыбаясь, подошёл к Одинцову вплотную, уставился ему в глаза своим холодно-голубым взглядом.

— Врагов жалеем? Вон как жалость-то проняла! В училище ещё я к тебе присматривался: вроде как не наш ты... Смотри, рапорт подам!

Пленных увезли.

Растерянный Флегонт забыл в «предбаннике» планшетку, пришлось вернуться. Там всюю орудовала уборщица.

— Кровищи-то налили, забрызгали всё, даже стены!—ворчала старуха.—Били пленённых-то крепко. Криком кричали, сердешные. Солдатик забежал ко мне: дай, бабка, тряпку! И зажёри второпях, худо... Перемывать надо.

Одинцов заметил посередине тёмного пятна у ножки стола в кабинете белый комочек. Зуб!
— Я уж выгрела не один...—старуха, подняв зуб, бросила его в своё ведро...

В Городке, после встречи с невестой Варей, после поцелуев, объятий, ласковых слов, Флегонт вроде б как подзабыл злорадное обещание Клинова написать рапорт. Но пролетел день—и Одинцов не находил себе места.

Ночью плохо спалось. Он, стараясь не потревожить Варю, вылез из-под одеяла, ёжась, торопливо натянул обмундирование.

За окном густел непроглядный сумрак, долго ещё было до зябкого серенького рассвета. На крыльце на холоде не рассидишься, и Флегонт, выкурив папиросу, поспешил обратно в уют Вариной комнаты, но по берущим за душу своим скрипом разошедшимся половицам в длинном коридоре

старался ступать как можно тише, чтобы кого-нибудь не потревожить.

И тут он услышал наверху, на втором этаже, шаркающие неспешные шаги, даже почудилось, что кашлял кто-то. Знать, не одному Флегонту в раннюю пору не спалось. Одинцов подумал на хозяйку дома, дальнюю родственницу Вари, Анну Гасилову, уже в годах женщину, но потом, вечером, подметил, что хозяйка с сыновьями-подростками и дочерью готовятся к ночлегу в смежной с Вариной комнате.

— Наверху никто не живёт,—ответила на вопрос Варя.

Но Флегонт на другое утро спозаранок пробрался по коридору так, чтоб уж точно ни одна доска в полу не скрипнула, бесшумно взобрался по лестнице—изучил её ступеньки днём.

За тяжёлой, с трудом поддавшейся дверью в ноздри ударил запах керосиновой гари, возле белеющей в темноте печи затрепетало пятно света, Флегонт успел заметить тень, отбрасываемую чьей-то согбенной фигурой с «летучей мышью» в руке. Минута—и всё исчезло.

Одинцов прокрался к тому месту, долго шарил ладонями по гладко отёсанной стене, пытаюсь нащупать дверной проём,—напрасно. Заглянул он и в незапертые комнаты—пусто, лишь кучи всякого хлама угадывались в потёмках.

Флегонт уж начал прощупывать кирпичи печи, извозив руки в побелке, но забрезживший в окнах рассвет заставил его ретироваться—не увидел бы кто из жильцов.

Первой мыслью Одинцова было: шапку в охапку—и рвануть в местный отдел НКВД! Он даже предвкушал, как затаившегося злобного врага выкуривают из дома. Надо—по брёвнышку хоромы раскатят и овчарку приволокут, чтобы унюхала! Но приутих: вдруг просто померещилось, поблазнило спросонок? На смех поднимут!

«Сам всё разведаю!»—твёрдо и отважно решил Флегонт.

Варя, хлебнув чайку, собралась на работу быстро, Флегонт пошёл провожать её, оставив незапертыми дверь и окно в комнате. Свернув за угол, он вроде б как всполошённо вспомнил об этом.

— Воровать-то там нечего,—попыталась успокоить его Варя, но Одинцов с озабоченным видом поспешил обратно.

За сарайками, за высоким плотным забором, да ещё пригнувшись, можно проскочить в дом незамеченным—Флегонт точно рассчитал. Растворив окно, он забрался внутрь комнаты и затих. Лестница, ведущая наверх, была возле стенки, так что самый тихий звук чьих-нибудь шагов по ней был бы отчётливо слышен.

Хлопали двери, топились печи. Хозяйка со своими чадами готовила еду, обряжала скотину. Долго показался Одинцову день. Флегонт уж поклёвывал

носом и уснул бы, но тут услышал скрип ступенек лестницы—кто-то поднимался по ней. Одинцов осторожно выглянул и, дождавшись хлопка двери наверху, взлетел по ступенькам следом. И вовремя—Гасилиха стояла к Одинцову спиной в проёме открывшейся возле печи потайной дверцы.—Руки вверх! Не двигаться!—срывающимся фальцетом истошно взвизгнул Флегонт и, подскочив, сунул ойкнувшей хозяйке под бок ствол пистолета.

Брякнулась об пол кастрюля, раскатилась исходящая парком рассыпчатая картошка; стоявший посреди крохотной комнатки высохший, заросший седым волосом старичок захлупал глазами, как сова, выгащенная на свет.

Бояться было нечего—руки старика пусты, в комнате он один.

Гасилиха опаматовалась, покосилась испуганно любопытным глазом на Одинцова.

—Флегонт Иваныч, ты бы убрал наган подальше от греха. Не ровён час—пульнёшь! А это... свояк мой, всё хотела знакомство с тобою свести, да больной он, почти не встаёт.

—Документики имеются?—прервал воркотню хозяйки Флегонт.

—Как же, всё есть. Печник он бывший, раньше-то мастер нарасхват, а ноне...—обречённо махнула Гасилиха рукой и обратилась к старику:—Ты бы прилёг, Андреюшко, а мы вниз пойдём!

Флегонт, спрятав пистолет, по-настоящему разглядел деда, пока хозяйка усаживала того на кровать и поила из кружки остывшим чаем, присмотрелся, что пальцы у Гасилихиного свояка тонкие и длинные, с бледно-маговой кожей,—нет, не такие у печников, у тех раздавленные, избитые. Но пуще—в облике старика почудилось что-то знакомое.

«Не убежит никуда, песок сыплется!»—решил Флегонт, но пока на всякий пожарный случай замок на дверь повесил и ключ в карман опустил. Нужно было придумать, что с дедом делать, главное—вспомнить, где встречал его.

Одинцов мучительно напрягал память, перебирая увиденные ранее лица, отвечал недовольно и невпопад Варе. Несколько раз в комнату за какой-либо надобностью заходила Гасилиха, садилась напротив Флегонта и, сложив на коленях большие натруженные руки, смотрела на него настороженно и умоляюще.

И он, наконец, вспомнил! Конечно, в ту пору старик был много покрепче и побойчее, и вид у него был не как сейчас—беспомощный и жалкий, а строгий и недоступный. Это же владыка Феропонт! Викарный архиерей из города, в котором родился Одинцов. Что в детстве запомнилось—никогда не забудется! Он тогда стоял возле собора в высоком чёрном клобуке и с посохом в руке!

Флегонт, ликуя, что память не дала сбой, даже напряжился весь, готовый конвоировать

старика куда надо. Все они, «духовные», враги народа нынче по лагерям, а этот, значит, затаился под чужими документами—тоже мне хозяйкин свояк! Тут и на обещанный Клиновым рапорт начальство, пожалуй, особо смотреть не будет. Такая птичка попалась!

—Вы епископ Феропонт?—отомкнув замок, прямо с порога громко спросил Одинцов.

И был удивлён: владыка не стал запираться.—Да,—глухо ответил он и перекрестился на красный угол, где перед иконами тускло мерцал огонёк лампы.—Вот и мой черёд настал,—владыка стал тихо произносить слова молитвы.

Флегонт подошёл к окну, отдёрнул занавеску. Во дворе шумно боролись Гасилихины пацаны, сама хозяйка, на пару с дочерью снимая высохшее бельё, с тревогою поглядывала на окна.

«А ведь и их тоже всех...—мелькнула мысль у Одинцова.—Укрывали...»

Владыка Феропонт, завершив молитву, обернулся, и луч солнца из-за занавески пролился на его бескровное, с чётко выделявшимися старческими коричневыми пятнами лицо, заставил затрепетать ресницы.

А Одинцов вдруг представил себе разбитое в кровь лицо того пленного «диверсанта», в смертном отчаянии обхватившего его колени... Нет, больше этого не будет!

Он подошёл к архиерею и, сложив ладони, преклонив голову, попросил:

—Благословите, владыко! Мне на фронт идти.

И ощутил почти невесомую ладонь на своём затылке...

На станцию возвращался Флегонт следующим утром—кончилась побывка. Он ещё не знал—не ведал, что поздним вечером того же дня, когда допрашивали «диверсантов», во время бомбёжки станции шальным осколком был убит лейтенант Клинов.

2.

В голубеньком домике под липами, на месте Гасилихиного родового пепелища, откуда, всё ещё в глубоком раздумье, побрёл, тяжело ступая, старый священник отец Флегонт, жили теперь внук хозяйки Степан и его мать.

Сыновья Гасилихи не шибко ладили промез собой. Оба неказистые, мелковатые в кости, с ранней плешью, обличьем очень схожие, и оба любившие одинаково обзывать один другого—гадким карликом, они до жути разнились характерами и поэтому, наверное, с малолетства не забирали их мир.

Стёпкин отец вскоре после войны, семнадцатилетним пацаном, загремел на срок—залез с дружками в ларёк, где его и сцапала милиция; так ершистый и неприветливый, он после отсидки стал ещё злей и угрюмей. Однако это не помешало ему

высватать за себя в дальней деревеньке старую деву. Дому пришёл конец—молодожён раскатал его на дрова и поставил новый.

Другой же брат женихался долго, всё выбирал. Нашёл, наконец, себе крутобокую копалуху, и детки у них полезли, как опята весной на пень.

Обоих братьев изломал и допёк до поры лес...

Стёпкин отец работал вальщиком в паре с соседом; вместе выпили море разливанное, спали в «тепляке» спина к спине, из одного котелка хлебали.

Отец заготовил для себя «костёр» хлыстов, как-то наведался на лыжах на делянку попроведать, а с неё трактор чужой с возом улепётывает. Отец—вдгонку! Из кабины соседушко высунулся и, зная прескверный гасиловский характер, метнул топор. Стёпкин отец успел пригнуться—топор воткнулся позади него в ствол дерева—и прихваченным с места разорённого кострища крюком для подцепки брёвен принялся обидчика из кабины выковыривать...

Со срока отец вернулся больной: заходился в кашле—как только лёгкие через рот не вылетали; сохшийся, с землистым измождённым лицом, он недолго оклёмывался, опять пошёл ворочаться с лесинами. Куда больше?

Всегда угрюмый, без словечка, он тихо-мирно заваливался после работы спать, но в дни, когда ему удавалось зашибить «халтуру» и крепко выпить, становился зверь зверем. Крушил в доме всё подряд, выгонял жену, Стёпка с сестрою улепётывали на улицу опрометью. Подрастающему сынку отец запросто мог дать зуботычину—только искры из глаз. А поутру, подняв прокравшихся обратно в жилище и забывшихся тревожным сном домочадцев, тащил Стёпку в лес драть корьё или рубить дрова.

Раз, так пьяно закуражившись, отец наложил на себя руки.

Стёпка на похороны не ходил, убежал к другу своему Оське, прихватив с собою из ящика под кроватью бутылку водки. Тем и помянули. Он не знал, осудила его или нет за это родня, никто слова не сказал, да и про отца, не слишком до родовы тороватого, стали скоро забывать.

А Степан, когда худо-бедно дожил до «сорокашника», об отце вспоминал всё чаще и чаще, без прежней обиды: «Вякнул бы он сейчас что, посадил бы я его на забор, и вместо петуха пусть бы кукарекал!...»

Гасилов нигде не работал уже несколько лет. Это прежде бы, в «совковые» времена, его прищучили менты и отправили куда-нибудь вкалывать на стройки народного хозяйства; теперь же строек тех и в помине не было, а пол-Городка моталось-мыкалось без работы.

Стёпка когда-то трубил три года в морфлоте на Севере, после дембеля в училище гражданской

авиации сумел поступить и летал бы, может, на трансконтинентальном лайнере или, на худой конец, на «кукурузнике», но... Приехав домой на побывку, он втрескался по уши в гостившую у соседней девчонку. Никогда на танцульки не ходил, с девками не целовался, ошивался всё с верным другом Оськой Безменовым по охотам и рыбалкам, а тут, краснея и пыхтя, даже в любви попытался объясниться. Девчонка—верть хвостом: у неё таких Стёпок—пруд пруди! Она в далёкий город—и влюблённый Стёпа за ней, а оттуда, с чужбины, еле ноги унёс. Времечко меж тем летело, и «самоволку» Гасилову в училище не простили...

Дома он устроился радистом в гражданскую оборону—в ВМФ кое-чему научился—и не заметил, как год за годом жизньюнка до сорока и докатилась.

Вроде бы жил как все, только почему так: семья—одна мать, руки-ноги болят, и сердце порою норовит из груди выскочить, и работы никакой нет—вольный казак? Со здоровьишком-то ясно: самогонку приловчился гнать чёрт знает из чего и не одну цистерну выцедил; семьёй бы тоже мог обзавестись, да всё никак не удавалось забыть первую зазнобу, перед другими, не успевая толком с ними познакомиться, напивался и выделялся. Не только девки, но и молодые разведёнки, вдовушки махнули на такого кавалера рукой.

Один верный с детства друг, Оська Безменов, остался. На его всегда будто удивлённо вытаращенные водянистые глаза, ссутуленную и высохшую, как мумия, фигурку слабый пол не клевал, так что со Степаном они состояли теперь на равных. Разве что Гасилов не засовывал, как Оська, периодически палец в ухо и, блаженно мыча, не тряс головой.

Оська приходил и трещал без умолку, недаром прозван был Армянским Радио. Степан нарезал для закуски солёные огурцы, хлеб, разливал по стаканам самогонку, даже слушая по привычке вполуха его болтовню, узнавал все новости в Городке, про все Оськины невзгоды и радости.

Мать Оськи преставилась рано; отец остался с кучей дочек, Иосиф—один сынок. Старенький домишко их походил на изрядно подпившего мужичка: припав набок к земле, всё норовил совсем упасть, да каким-то чудом держался—у отца, инвалида войны, подправить жилище руки, видно, не доходили. По детдомам, однако, хотя порою и хлеба на столе не водилось, никого из младших не раздали. Старшие девки выросли, разъехались жить самостоятельно; остались Оська и младшая сестра Танюха. Оську отец выделял из прочих и жалел больше. Однажды, пьяный, ненароком спихнул спящего пацана с печной лежанки. Очутившись на полу, Иосиф не взревел, лишь тихо замычал, суча ножонками. Папашка услышал-таки его, слез с печи и испуганно прижал

к себе, ощупывая голову. Оська-то оклемался, но отец потом, в подпитии, жаловался, что нащупал тогда на Оськином темечке приличную мятину...

Стёпка догнал Иосифа в шестом классе, где тот мирно досиживал третий год. За одной партой они добрались до восьмого, после Оська ушёл работать в лес, да и застрял там на всю оставшуюся жизнь. Но был он похитрее, что ли, прочих: деревья не валил, лесины не таскал и к стынущим на морозе трелёвочникам и прочей технике близко не подходил, разве что по большой просьбе, изнывая зимой от безделья, обрубал топориком сучки на поверженных стволах. В остальное время Оська числился лесником и не просто обходил свой участок, а постоянно нёсся рысью по ему одному ведомым тропам — «набор костей и кружка крови»

Занемог, занедужил от смертной болезни отец, но где горе, там и радость: инвалиду войны всё-таки дали квартиру, и вовремя — в домишке вздыбился возле просевшей печи пол и дугою выгнулись потолочные балки. Едва выехали, в доме случился обвал; не стало вскоре отца, и остались Оська с сестрой жить в новой квартире...

Всё это Степан выслушивал уже в сотый, если не больше, раз и, взяв стакан, морщился, представляя засидевшуюся в девках и всё ещё красивую Оськину сестру, злущую брезгливую гримасу на её лице, когда забегал иногда навеситить друга: «Опять пить? Алкаши несчастные!» Танька захлопывала дверь; Оська за стенкой боязливо не подавал голоса.

А было время, ещё, наверное, до школы... Стёпка и Танька не лезли в шумные затеи уличной ребячьей компании, везде ходили и играли вдвоём, купались голышом в тёплой затхлою воде пруда и стали стыдливо избегать друг друга, лишь когда задразнили их завистники: «Тили-тили-тесто, жених и невеста».

Куда всё ушло?..

Степан, опрокинув в себя первый стакан, знал, что будет дальше и что не случится ничего нового: у Армянского Радио внезапно «сядут батарейки» — Оська, замолкнув на полуслове, повалится под стол и продрыхнет там до утра, а сам Степан будет дальше тянуть самогонку в одиночку, пока не заснёт, уронив голову на столешницу.

Пьянел Гасилов быстро, но шальная злорадная мыслишка не успела увязнуть бесследно в хмельном дурмане... Бедный Иосиф, не переставая бормотать, свалился от толчка в плечо на пол, и вдруг всё перед ополоумевшими глазами его закрутилось. Это Степан стремительно закатал приятеля в домотканую цветастую дорожку и придавил больно подошвой Оськину скулу: — Блей козлом!

Иосиф возражать не стал, заблеял жалобно, а Степан, стоя над ним, раскачивался из стороны в сторону, тупо пытаясь придумать новую пытку.

Но равно незлобивый Оська за претерпеваемые порою мучения сердца на друга долго не держит, замирается, едва стоит тому при встрече подмигнуть да щёлкнуть выразительно пальцами по горлу. — Изувечишь ведь дурака, сидеть за него! — прибежала из другой половины дома на шум мать. — Уйди! — свирепо завопил Степан.

Пока он с матерью переругивался, Оська сумел высвободиться из «кокона» и на четвереньках, открывая лбом попадавшие по пути двери, улизнул на улицу.

Мать заплакала, негромко запричитала; Степан, залудив «дозу», уткнулся лицом в ладони: — О-ох, тоска зелёная! Сдохну!

3.

Теперь отец Флегонт втайне гордился тем, что он «сдал» тогда, давно, на лютую расправу немощного старика епископа Ферапонта, хотя ни разу об этом никому не рассказывал. Опасался больше по привычке...

В конце войны его вызвали к высокому начальнику. Флегонт Одинцов был уже не зелёным младшим лейтенантом, а бывалым капитаном СМЕРША, но шёл туда с откровенным страхом: слышал, что многие и из «своих» оттуда не возвращались, и куда девались — догадывались все, да помалкивали. Начальника того он видел как-то мельком, и то издали: в защитном френче без погон вышел тот из «эмки», плотно загороженный спинами челяди, и тут же исчез в подъезде управления — пузатый коротконогий толстячок с огромной сверкающей лысиной.

Выслушав доклад еле пересилившего сушь в горле Одинцова, толстяк, мягко ступая, отошёл от полузашторенного окна; Флегонт, избегая взгляда бесцветных, ничего не выражающих глазок, устоял поверх — на торчащие по обе стороны лысины вихры жёстких, как грубая щетина, волос. — Капитан, ты крещёный? — огородил толстяк вопросом.

Одинцов замямлил растерянно, что, мол, не помнит толком: может быть, бабка его в неразумном младенческом возрасте и таскала в церковь крестить, а сам вдруг отчётливо, словно наяву, увидел укрывавшегося в потайной каморке архиерея и почувствовал, как побежали зябкие мурашки по спине, — наверное, всё стало известно. Показалось даже, что скрипнула позади дверь и вот-вот кто-то схватит за локти и заломит руки назад.

Но толстяк приветливо кивнул на табуретку, приглашая присесть; сам устроился в кресле за столом.

— Так это ещё лучше, — он нацепил на картошину носа очки и стал на кого-то очень похожим, — для ответственного задания, какое мы хотим вам поручить... Война кончается, фрицам каюк, но на идеологическом фронте, сам знаешь, капитан, мира

не предвидится. Вон за войну сколько церквей пришло под пооткрывать, а кто же за служителями их длинногривыми присматривать будет? Особо за старыми, из лагерей выпущенными недобитками? То-то! — толстяк, видимо, для пущей убедительности, потряс перед собой коротким, будто обрубленным, указательным пальцем и ткнул им в лицо Одинцову. — Выслушай задание, капитан!

Одинцов поспешно встал, вытянулся, прищёлкнув каблуками.

— А это уже будет ни к чему! Надо отвыкать напроць! — довольный, хмыкнул толстяк. — Нужен нам среди длинногривых свой, сподручнее ему будет за ними приглядывать, в душу влезать. Так что принимай, капитан, другой облик, не всё тебе диверсантов и дезертиров ловить!

— Как? Да я... Я и в Бога-то не приучен верить! — совсем растерялся Флегонт.

— Надо будет — поверишь! Выполняйте приказ! Инструкции получите в кабинете... — толстяк назвал номер и, нажав кнопку на столе, кивнул выросшему на пороге дежурному: — Проводи!

Выходя из кабинета, Одинцов оглянулся. Толстяк, закуривая, опять отходил к окну; в просвет между плотными шторами проглянуло солнце, и на противоположной стене заколебалась тень: чёрный дымящийся шар головы с остро торчащими рогами. Показалось, опахнуло не запахом дорогого табака, а серой...

На другой день Флегонт в застиранной, заштопанной гимнастёрке стоял на службе в открытом недавно храме на окраине полуразрушенного города, косясь на закутанных в чёрные платки старух, неуверенною рукою пытался сотворить крестное знамение и как-то бездумно просил у того, в кого не веровал, помощи на неправоё дело.

Неправым то, что он тогда начинал добросовестно исполнять, Одинцов стал считать много позже, а пока втягивался в таинственную церковную жизнь, ни на минуту не забывая, зачем был поставлен, — «глаза и уши» работали у него исправно и безотказно.

Только вот со временем беда приключилась... Одинцов порою ощущал, как его буквально раздирали надвое привычное чувство долга и «ростки веры». В детстве заложенные богомольной бабкой семена, присыпанные толстым слоем мёртвого пепла, где-то в сокровенной глубине души, оживая, прорастали и потихонечку пробивались к свету...

Того толстяка — рогатого беса — арестовали, объявив его, естественно, «врагом народа», а вместе с ним и целую цепочку подчинённых. Одинцов всё время не забывал, что он — одно из её малых звёнышек и что уж если её потянули... В выступленном морозом храме, где не то что мало-мальский звук, но и слабый шорох чётко отдавался под высокими сводами, Флегонт молился один. Робко

тепились в полумраке огоньки свечей перед иконой Спасителя, отражались в серебристом венчике над потемневшим древним ликом; Флегонт, стоя на коленях, бил и бил земные поклоны, сокрушаясь сердцем, шептал страстные слова молитв. Ему казалось, что стоит только выйти из-под спасительной сени Божьего храма, и тут же, не позволив ступить и шагу, его на паперти жестоко схватят и повлекут в ночь железные, не знающие ни малейшей жалости руки и — попробуй дёрнись или вскрикни! — тотчас промеж лопаток больно и страшно упрётся холодная сталь оружия. И возврата не будет, а лишь адовы муки, после которых пуля — желанное избавление.

Одинцов облизывал с губ солёную влагу, но слёзы опять и опять застилали ему глаза, и в конце концов он обессиленно распростёрся ниц на холодных каменных плитах пола.

Обошла чаша сия, не тронули...

Сколько уж с той поры минуло лет? Теперь «перестроенный» народ валом повалил в распахнутые двери храмов — и помолиться, и просто из любопытства. Никто в открытую не насмехался над служителем культа, чернеющим в людном месте широкополой рясой, не передразнивал и не улюлюкал вслед. Даже самые отпетые безбожники, не желая выглядеть дураками и отставать от крутых перемен в жизни, напускали на себя смиренный и почтительный вид и, по новой «моде», приглашали священнослужителей освящать новостройки, мосты, квартиры, самолёты, виллы, рынки и под стрекот телекамер готовно подставляли довольные, умильные рожи под кропило батюшке.

4.

Незапертая калитка распахнулась настежь — и Степан обмер: пятнистое чудо-юдо ввалилось во двор, налитыми кровью свирепыми глазами уставилось на Гасилова; с ярко-алого языка, выгнутого промеж огромных белоснежных клыков, капала слюна.

Заметив, что собачищу крепко держит на поводке коренастый чернявенький мужичок с бородкой, Степан поуспокоился. А тот, заломив бровь, прищуривая цыганский, с грустинкой, глаз, спросил, растягивая слова:

— Ты по фамилии Гасилов будешь?

Получив в ответ растерянный кивок, он отпихнул ногой собачью морду и протиснулся во двор. Одет был незнакомец в невзрачный пиджачишко и спортивные с яркими лампасами штаны; за плечом на широком ремне вниз грифом висела гитара. — Савва я. Не помнишь? Брательник твой.

Обняться бы положено, но Степан лишь недоверчиво пожал протянутую ему маленькую ладошку.

— Ты, это самое... — брательник откинул полу пиджака и блеснул стеклом посуды. — Организовал бы, а?

— Я — мигом! — Степан, отбросив всякую насторожённость, метнулся в дом за стаканами и закусью, несказанно обрадованный: тут без разницы — хоть родственник, хоть хрен с большой дороги или чёрт с рогами.

Савку, черноголового шустрого пацана, лет на пять постарше, он помнил смутно — едва померла бабка Анна, тот с матерью уехал на житьё в большой город. По родне потом разнеслось, что, повзрослев, Савва вышел в большие люди — работал следователем; кое-кто из земляков видал его в милицейской форме. Но точно все были поражены, когда узналось, что Савва Гасилов вдруг стал... попом. Прикатив за какой-нибудь надобностью в областной центр, городковская родова норвила непременно заглянуть в собор, где, тихо в ладошку ахая, признавала в обросшем курчавой бородкой, облачённом в широкую «греческую» рясу служителя незабвенного Савву. Тот, видимо, предполагая присутствие ближней и дальней родни, неприступно хмурил брови, поглядывал грозно. Но родня и так к нему лобызаться не лезла, побаивалась, а уж дома-то росказней было! Эх, Савва, высоко ты взлетел, не нам чета!

Потом зловредный слушок прошёл, что Савву-то из попов турнули, только кто этому верил, а кто нет...

Степан Гасилов, поправив головушку, приглядывался теперь к гостю с благодарно занявшейся, наконец, братской любовью; Савва, опровергая напрочь сплетни сторающих от чёрной зависти земляков, оказался свойским мужиком — устроился поудобнее на чурбаке вместо стула, взял гитару, тронул струны и запел:

Гори, гори, моя звезда!..

Он устроил во дворе гасиловского дома настоящий концерт. Захмелевший Степан, пустив слезу, попытался, подвывая, подтягивать, да куда там! Заслушав Саввин сочный баритон, замедляли шаги прохожие на улице, соседи пораскрывали окна; пел Савва не блатную похабщину, какую услышишь из любой подворотни, а песни — их и по радио не всякий день крутят: «У церкви стояла карета...», «Вот кто-то с горочки спустился...». Степан, и половины слов не зная, затосковал, бедный.

— Пойдём, Саввушка, пойдём! — размазав по лицу ладонью грязную влагу слёз, затеребил он за рукав певца. — Там нас встретят...

Степан и не заметил, как подросли двоюродные сёстры. Отца их, тракториста, сгубил не столько лес, сколько железо: угас он тихо и незаметно. А девчонки все бегали чумазые, в грязных, затасканных

друг после дружки платьицах, голодные: мамаша их, обгегорит кого на полушку и рубль потерять, неповоротливая, заплывшая жиром баба, к общественно-полезному труду была совершенно равнодушна.

Степана сеструхи однажды узрели валявшимся в канаве и потащили к себе домой.

— Брат ведь! Ещё замёрзнет... — проговорила которая-то.

И вправду — в лужах уж ледок позванивал.

В тесной барачной комнатухе одна из его спательниц забрякала заслонкой печи, и вот ноги Степана очутились в тазу с горячей водой. Другая поднесла стакан обжигающего нутро пунша, и Степан начал оклёмываться. С немалым изумлением узнавал он своих двоюродниц, из сопливых девчонок непостижимо превратившихся в рослых девах и даже не первой молодости. А ведь в одном Городке жили... Кто бы чужой стал возиться с пьяным? «Родная кровь!» Улыбающиеся лица сестриц расплылись в застывшем глаза Степану солёном мареве...

С Саввой к ним и направились. Девки вправду обрадовались гостям. Дряхлый магнитофон, хрипевший день и ночь напролёт непонятно что, забросили подальше; Савве пришлось петь почти без перерыва. Но глотка у него лужёная: намахнёт Савва стопочку, занюхает огурчиком и за гитару опять берётся.

Барак, где разгоралось гульбище, стоял на оживлённой даже поздним вечером улице. Здесь старшая сестра Симка после интерната, вкальывая полотёркой в детском доме, получила комнатёнку. И пусть холодина в ней жуткая, пусть за стенкой функционирует общий нужник, остальные сеструхи одна за другой перебрались на жительство к старшей. Ничего, что и пованивает, — притерпеться можно, в тесноте, да не в обиде. Зато беспутная мамаша не обзывает похода дармоедами и сучками, сами себе хозяйки.

Не писанные красавицы, в девках прочно засиделись, но холостяжник, нетрезвый и отвергнутый молодёжкой, толочся у них безвылазно; куча подруг набегала перебивать всем кавалерам в Городке кости и мослы; забредали ещё не засосанные семейной житухой молодые пары. Шум, гвалт, звон посуды, магнитофонный ор, табачная завеса — девки и дома от рождения в тишине не живали, а уж если случалось пять минут затишья — как чего-то не хватало. Спали вповалку, кто где. А поутру сёстры, выпроводив ночлежников, просыпаясь на ходу, торопились на работу: кормить-поить никто не будет...

Вот и сейчас набилась полная комнатёнка народа: кто, раскрыв рот, слушал Савву, кто разливал «самопальную» водку — магазинная-то не по карману. Степан незаметно для себя раскис и прикорнул на кровати...

Проснулся он, когда с улицы в окно стал робко пробиваться рассвет. Кое-как разлепив веки, Степан обвёл взглядом полутёмную комнату, на диване у стенки напротив различил человека: по вздёрнутой вверх бородёнке догадался, что это Савва; вон и пёс растянулся рядом на полу. Когда схлынула запоночная развесёлая компания — один чёт ведает!

За спиной Степана кто-то сладко всхрапнул, он повернулся и опешил: Симка! Спала она, завернувшись с головой в тоненькое байковое одеяло. То-то жарило зади как от печки! Степану сразу стало зябко, захотелось забраться на эту «печку» — так уж всему! И он осторожно принялся натягивать на себя одеяло. Симка ещё разок громко всхрапнула, простонала томно, но парня не отпихнула, дозволила ему заграбастать в ладонь полную грудь с острым зашершавившимся соском. Потом повернулась к Степану и готовно подставила для поцелуя жаром опухшие губы...

Брательников сестрицы тоже выпроводили на весь день на улицу. Те уныло побрели к автовокзалу: там, возле неказистой его домушки, столпились ларьки. На этом «пятакче» топтался опухший, небритый, небрежно одетый люд, пытаясь сложить имеющуюся наличность. Пока завсегдагаи с боязливым почтением разглядывали плетущегося позади братьев-страдальцев дога с подтянутым к хребту брюхом — у сеструх даже корки хлеба не обнаружилось утром для бедной псины, Степан лихорадочно прикидывал, к кому бы «сесть на хвост». Но, как нарочно, граждане были — самим бы кто плеснул.

Савва зазвенел в кармане мелочью, кивнул сразу ожившему Степану:

— На дорогу хотел оставить. Но ничего, доберусь!

Провожаемые завистливыми взглядами брательники поспешили под сень деревьев ближнего скверика. Кое-кто, вспомнив о неотложном деле к Степану, двинулся следом, но Савва тряхнул пса за ошейник, и тот, оскалив клыки, мрачным своим взглядом отсёк напрочь сопровождающих.

— Ну, полетели! — вздохнул поглубже Савва...

Степан заметил бегущего по тропинке стремительной рысью Оську Безменова. Для старинного друга не жаль было и пожертвовать «остатчиком».

Но Иосиф озабоченно сморщил лоб, поковырял пальцем в ухе, помыл и сообщил:

— Сеструху мою, Таньку, параличом расхватило. Инсульт. Домой из больницы выписали, в аптеку вот за лекарствами бегал. Жраньё готовить надо.

Подношение Степана Оська отвёл в сторону: — Не буду! У Таньки хоть и речь отнялась, а ведь смотрит она глазами-то, всё понимает.

Иосиф так же стремительно взял с места в карьер, как и мчался до вынужденной остановки.

— Бойтся! — с презрением махнул рукой ему вслед Степан. — Уж тут-то бы чего...

Впрочем, через минуту друг Безменов с его заботами был начисто забыт, надо было кумекать, как раздобыть дп, а волка ноги кормят. У сеструх на двери квартиры по-прежнему висел замок, и брательникам пришлось разлечься на травке возле крылечка — скоротать время.

Степан чуть не задремал и проспал бы точно вышагивающую прямо по середине дороги бывшую свою одноклассницу Лерку Васильеву. Лерка вышагивала бы себе, и ладно, но она поигрывала бутылкой водки в руке, подбрасывала посудину в воздух и ловко подхватывала её опять за горлышко. К однокласснице Степан в ином случае и не приблизился бы, побаивался он её...

В первом классе посадили Стёпку за одну парту с девочкой. Белокурые волосы её украшал, покачиваясь, как диковинный цветок, огромный яркий бант; поверх школьного платья был надет снежной белизны фартучек; и даже каким-то чужим казалась среди этого великолепия смуглое болезненное личико с грустными большими глазами. Другие пацаны дёргали своих соседок за косички, дразнили, высовывая языки; Стёпка же прижался к батарее под подоконником, притих и только опасливо, украдкой, поглядывал на Лерку, схожую с куклой, которую, прикасаясь, можно измять или поломать.

Вскоре учительница их рассадила, да и от кукольно-неприкасаемого облика Лерки скоро ничего не осталось. К средним классам она остригла коротко волосы, ходила вызывающе в джинсах вместо формы, убежала с парнями курить за углом; и её же первую пацаны пытались лапать; впрочем, после крепких затрещин и отступились.

Леркина мать работала преподавателем в другой школе, и от учительной дочке почему-то доставалось больше всех. Когда Лерку отчитывали, она, сжав и без того тонкие и блёклые губы в брезгливую ниточку, спокойно стояла и не отводила от взмокшей от ярости учительницы презрительно-насмешливого взгляда. Изгнанная с урока, класс она покидала, неторопливо выстукивая каблучками, гордо задрав носик, хлопала оглушительно дверь под довольный гогот хулиганистых парней с «камчатки». Если эти что-нибудь вытворяли, то Лерку обязательно вместе с ними тащили на разборку к директору, пусть она и ни при чём была.

На улице поздним вечером слегка подпитая Лерка куражилась, девки от неё шарахались: не понравившейся она могла запросто завернуть длинный подол на голову и, завязав сверху, пустить так гулять, а наглому парню — двинуть ногой в причинное место.

В выпускном классе пришла новый классный руководитель — Леркина мать, высокая моложавая женщина в строгом тёмном костюме. Лерку она

поднимала во время уроков и делала ей замечания чаще, чем другие учителя. Мать и дочь стояли и смотрели друг на друга, одинаково поджимая в тонкую ниточку губы, и Стёпке казалось, что между ними возникла незримая стена, через которую они, может быть, друг дружку и видели, но не слышали и не понимали. Лерка после напряжённого молчания срывалась к двери и захлопывала её за собой. И к директору Лерку теперь таскали одну, без компании. Мать проработала не больше пары месяцев, уволилась...

После выпуска Лерку, как и других одноклассников, Степан видал мельком, и если с кем-либо хотелось поговорить, то её он старался обегать сторонкой. Слышал, что она побывала в тюрьме, прижила ребёнка и забросила его на произвол судьбы, что суровая её мамаша занялась воспитанием дитяти.

Нос к носу Степан однажды столкнулся с Леркой у пивного ларька; то ли она была после отсидки, то ли выползла с того света после страшного «бодуна», только лицо её, осунувшееся, со сморщенной, как у старухи, кожей, так напугало Степана, что он и про пиво забыл, унося ноги...

Теперь вот он, облизывая спёкшиеся губы, зачарованно следил за сверкающей посудиною в Леркиной руке и — будь что будет! — пошёл навстречу. — Здравствуй, Лера! — заискивающе улыбаясь, робко поздоровался он.

— Здравствуй, здравствуй, хрен мордастый! — ухмыльнулась Лерка.

Но её, похоже, больше заинтересовал Савва с псом: он разворачивал дога за тощий хребет, норовя Лерке загородить дорогу.

— Что, мужики? В гости ко мне намылились? Пошли!

Степан скоро понял, что он — третий лишний. На тесной кухне, заваленной немытой посудой, Савва после стопки запел громогласно, но Лерке не понравилось:

— Прекрати, соседи в ментовку настучат!

Савва, пуча глаза, опять вывел зычную руладу. — Не тяни за душу, а то пазгну! Не понял?!

Лерка, как кошка, прыгнула на Савву; тот опрокинулся со стула, увлекая её за собой. Лёжа на полу, они вдруг оба рассмеялись, целуясь.

— Погулял бы ты, одноклассничек!

5.

Родители Василисы, воспитанницы отца Флегонта, погибли в одночасье в автомобильной катастрофе. Батюшку, дальнего родственника, пригласили их отпевать, даже машину за ним и матушкой его прислали. Новопреставленных — молодых ещё людей — отец Флегонт при их жизни не знал, поэтому потом, за поминальной трапезой, помалкивал, пригубив вина из стакана, разглядывал незнакомые лица.

Лет семи девчонку в чёрной косынке, из-под которой выбивались жидкие хвостики косичек, подвела к столу молодая женщина с усталым, измученным выражением на исплаканном бледном лице.

Девчушка нетерпеливо высвободила из её руки свою ладошку, подбежала к улыбнувшемуся отцу Флегонту и затеребила его за рукав:

— Дедушка, ты старенький и всё знаешь... Скажи, когда папа с мамой приедут?

— Василиса! — одёрнула её женщина, но девчонка уже смело забравшись к Одинцову на колени, тянулась, тихо смеясь, потрогать его бороду.

Тогда женщина, вздохнув, опустила на пустиющийся стул рядом.

— Не знаю, куда её и деть... Школьная подруга я мамы-то её. Мне уезжать вот-вот надо, на другой край страны. У одних родных просила, у других, чтобы за девочкой присмотрели, пока документы в детдом оформляют, и никто не берётся.

Женщина произнесла слово «детдом» чуть слышно; отец Флегонт скорее догадался по губам. Он с жалостью поглядел на девочку, с его колен тянувшуюся ручонкой к большому румянобокому яблоку на блюде посреди стола, и, может, даже неожиданно для себя, спросил:

— Хочешь погостить у нас?

Девчушка радостно кивнула.

Потом, всю обратную дорогу поглядывая на заснувшую рядом на сиденье девочку, отец Флегонт толковал матушке:

— Всё веселей и поваднее нашей внучке Верочке с нею будет! Угла не объест, пусть хоть перед детдомом поживёт...

Попадья помалкивала, отводила, насупившись, глаза в сторонку, но Одинцов как бы не замечал этого...

Девчонки-одногодки сдружились, летние деньки промелькнули быстро. Веру увезли родители, а над Василисой отец Флегонт надумал оформить опеку.

Матушка такое решение встретила в штыки: — Сдурел на старости лет! Было б хоть что опекать, а тут, кроме битой машины, ни гроша! Лучше б о родных детях и внуках позаботился!

Но Одинцов всё равно решил сделать по-своему, вздохнул только, взглянув на дородную, седовласую, с мясистым лоснящимся лицом, надувшуюся попадьё: мало чего осталось в ней от прежней Вари-Вареньки, что ждала его когда-то давно с фронта в большом старом доме на окраине Горodka.

— Если не отвезёшь девчонку, — матушка не уточняла куда, а лишь угрозиво постукивала пальцем по столешнице, — я тогда уеду к дочерям. Посмотрим, как ты с ней крутиться будешь!

И сдержала слово. Только вовсе туго отцу Флегонту с Василисой не пришлось: обиходить девчонку стали помогать ему старушки из облуги

храма, да и сам батюшка супишко и кашу сварить, постирушку устроить не брезговал—матушка и прежде частенько погостить у дочек в Москву или в Питер отлучалась. В школу Василису за руку он повёл сам, помогая девчонке удерживать большущий букет цветов.

Наведывалась матушка, навещали дочери, но уже чем дальше, тем реже перемигивались за столом, шептались по углам, покручивая пальцем у виска. Заботило другое: отцу Флегонту было порядочно годков—мало ли что?.. Неужели, по стариковской своей дури, отпишет всё, что накоплено, чужачке?!

Одинцов лишь усмехался, видя напускную ласковость на лицах дочерей и плохо скрываемую злость на лице матушки, подмечал, что чувствует это и переживает больно Василиса, и вот это-то и сблизило их—старого и малую. А тем, родным, было всё невдомёк.

И ещё думки одной, овладевшей им неотступно, не высказал родне, да и никому, отец Флегонт: в благостное время молитвы к Богу пришла она. «А что, если воспитаю сироту, помогу подняться—ведь зачтётся мне там, на Страшном суде Господнем? Прошлые мои грехи, тяжкие и смертные, может, искуплены будут?!»

С надеждой и упованием поднимал он влажные глаза на образ Спасителя.

6.

Утром на квартире у Лерки «поправляли» головушки, галдели, смеялись солёным шуткам; Степан поначалу и не заметил, что с порога комнаты пристально смотрит на него какая-то старуха. Голова её косо повязана линиялым платком; в разгаре лето, а одета она в поношенное тёплое пальто; обувь—на одной ноге сапожный опорок, а на другой растоптанная сандалия с дырявым носком, и даже чулки разные.

Степан взгляделся в неподвижное, наподобие маски, лицо и подметил чёрточки, схожие с Леркиными.

Из-за спины старухи вывернулся белобрысый малый лет пятнадцати, ясными голубыми глазами выжидающе уставился на Лерку.

—Бабушку отдохнуть отведи. И напои чаем! Как на огороде дела?—Лерка деловито давала указания и спрашивала между затычками сигаретой.

—Бабка-то твоя ругаться не будет, что мы здесь сидим?—полушёпотом спросил её Степан.

—Это мать моя. Не узнал, что ли?!—жёстко прищурилась Лерка.—До ругани ли ей?.. И ещё—родной сынуля. Со зрением у него—кранты!

Она прикрикнула на парня:

—Надел бы ты очки, сынок! А то шарисься, за стенки держисься!..

Лерка «дотянула» стакашек, кивнула гостям, чтоб подождали её на улице.

Степан не успел досмолить найденный «бучок», сидя у подъезда на лавочке рядом с Саввой, чешущим за уши пса, как Лерка уже выпорхнула из дверей в нарядном платье, с кокетливо собранными в пучок волосами на голове; мрачную синеву под глазами прикрывали солнцезащитные очки. Только что вот сидела за кухонным столом в заграпезном грязном халате, бесстыже заголяя худые ноги, с растрёпанными космами и с помятой рожей, и—на тебе, совсем другое дело!

Савва сочно крикнул и, ударив по струнам гитары, хватил:

Мохнатый шмель на душистый хмель...

Баритон его в стиснутом пятиэтажками двореколодце отлетел от стен множеством отголосков; сразу завывывались из окон любопытные, а все, кто был во дворе,—женщины развешивали сушиться на верёвках бельё, дети играли в песочнице, мужики возились с автомобилями,—все побросали свои дела и делишки и удивлённо вытаращились на Савву.

Лерка, гордо задрвав подбородочек, взяла за поводок дога—тот послушно и добродушно ткнулся ей мордой в колени—и неторопливо зашагала вслед за пригланцовывающим перед нею с гитарой, поющим Саввой. Степан, топя за ними, всё не переставал удивляться Леркиному виду: «Прямо принцесса английская! Небось, в колонии-то конвоиры с собаками под охраной водили. А теперь сама аж с догом идёт, человеком, наверное, себя чувствует!»

Всё бы ладно, но оглянулся Степан—и его покорило, приподнятое настроение стало улетучиваться: к стеклу в окне первого этажа дома льнула лицом Леркина мать со скорбно поджатыми губами...

На окраине Городка ещё и друг Иосиф окликнул. Он, потихоньку ступая, выводил на прогулку сестру, подхватив её за подмышки. Рослую, выше брата на целую голову, Таньку теперь трудно было узнать: одна рука плетью болталась вдоль тела, ноги еле передвигались, но страшнее всего были испуганные, беспомощные глаза на бледном исхудалом лице. Доправив кое-как сестрицу до лавочки в тени деревьев неподалёку от подъезда, Оська изрядно взмок и не раз сказал спасибо подоспевшему на подмогу Степану.

—Вот так и живём...—начал Иосиф, но Степан, махнув рукой, побежал догонять новоиспечённых друзей—на Таньку было лучше не смотреть...

—Куда мы?—растерянно спросил он.

—Туда!—указал Савва на белевшую за полем на холме церковь.—Там меня встретят и приветят. И вас заодно.

Казалось, до храма—рукой подать, но перешли по разбитому тракторами мосту затянутую тиной и забитую городскими стоками речушкой;

полевая дорога, развороченная весной, закаменела в глыбах, и скоро путники выдохлись; лишь пёс, опущенный на свободу, впуская птичек, носился по полю, смешно вскидывая зад.

Палило нещадно. У белёной, украшенной кирпичной кладкой стены церковной ограды заозирались: где бы напиться воды и сунуться в тень? Кругом—тишина, как всё вымерло. Савва, пригладив бородку, приосанился и, постучав в дверь дома возле ворот, спросил батюшку. Старушечий голос из-за двери ответил, что нет его, в отъезде, но к вечеру должен вернуться.

— Будем ждать, — обескуражено поскрёб Савва в затылке.

— Пойдём к карьерному пруду! — предложил Степан.

С краю погоста огромный карьер уродовал холм, сожрал его почти наполовину; на дне поблёскивало озерцо, наполненное водой из подземных ключей. — Искупаемся?

Савва в ответ промолчал, лёг на траву в тень вековой липы на краю обрыва. Лерка тоже опустилась рядом и положила его голову себе на колени. Степан вздохнул и бегом, рискуя свернуть шею, пустился по откосу вниз.

Вода в озерце, прокалённая солнцем, чуть ли не исходила паром, зато донные ключи сразу застудили ноги.

— Давай сюда! — крикнул восторженно Степан Лерке с Саввой, но те не откликнулись: он, похоже, задремал, а она задумчиво перебирала, крутила в пальцах его кудри.

На Степанов крик дружно захихикали проходившие мимо по тропинке к погосту три молодые бабёнки. Были они, видно, из села неподалёку от церкви. Степан смутился, нырнул, едва не окарябав лицо о камешник на дне. Донный холод стянул судорогой ноги, скоро выгнал из воды. Степан, убедившись, что поблизости никого нет, разлёгся на песочке...

Разбудил его шум подъехавшего автомобиля, хлопот дверок. Савва, тот бегом припустил к сторожке, у крыльца тоекратно облобызался со стареньким батюшкой, которого прежде Степан не однажды видал стоящим в задумчивости возле его дома в Городке.

— Что, брат Савелий, и до нас, грешных, добрался? Как в «расстриги» попал, так и болтаешься до сих пор? Всему виной — питье да развесёлая жизнь!.. Когда ты у меня ставленником стажировался в соборе, глагоал я тебе сколько: смиришь! Не мирское здесь! Не послушался...

Старик говорил с укоризною, но Савва и не подумал обижаться: стоило священнику присесть на лавочку у крыльца, тоже примостился рядом. — Было дело, — криво ухмыляясь, блеснул он золотёной фиксой. — В попах-то я как оказался... Сынка начальника одного областного прищучил, меня

подставили и — погоны долой! Из ментов полёри, куда-то надо было сунуться. Никто ведь! Жил возле епархиального управления, сначала сторожем взяли, потом в священство продвинули. Больно голос мой архиерею понравился, да и в церковь народ валом повалил, «кадры» до зарезу потребовались. Только, стало быть, и тут я не ко двору пришёлся... — А вера-то как же? — отец Флегонт попытался заглянуть Савве в глаза, но тот опустил их долу. — Вот и смутил тебя лукавый за маловерие. Он тут как тут. По себе знаю...

Старик удручённо вздохнул, но потом, вспоминая что-то, улынулся:

— Всё хотел спросить... Ты, брат Савелий, Анне Гасиловой, покоенке, родственником не приходишься? Или просто однофамилец?

— Внук! А это — второй! — кивнул Савва на Степана, и тому стало неловко под пристальным взглядом священника.

Стыдясь своего опухшего, с синими подглазьями, в колючей щетине лица, он поспешно отвернулся.

— Только вот помню бабку плохо, мал был, — продолжил Савва. — Сынки её до поры допекли, мои, стало быть, дядя. Мать моя, старшая её дочь, учительницей работала, потом в райком комсомола её перевели. Тут и я на свет появился. Мать рассказывала, что бабка-то всё переживала: не порченый бы какой вырос, безотцовщина. И надумала меня окрестить втихаря от матери... А церковь закрыта, склад там. Но у бабки старичок доживал, вроде как квартирант. Седенький и дряхлый, скрюченный в три погибели, слепой. Выбирался иногда на завалинку на солнышке погреться. Так вот, бабка лохань притащила, воды налила, меня гольшом поставила. И выходит вдруг из соседней комнаты тот дед во всём чёрном: раньше-то в телогрейке ходил, а тут ряса надета, и верх епитрахиль и панагия поблёскивают. Я от него было бежать — не узнал сначала, вот как старик преобразился!.. Я и сам, в наше время, рясу надев, тоже преобразиться хотел, да духу не хватило.

Савва помолчал, посмотрел на видневшиеся вдалеке домики Городка.

— Отчаянная головушка бабка была... От матери я недавно узнал: по документам дальнего родственника аж архиерея укрывала. Как НКВД и не пронюхало, а то каюк бы всем! Владыке — пулю, всё бабкино семейство — под корень!

— Могло бы быть такое, да Господь не допустил! — сказал отец Флегонт. — На тех женщинах вера тогда держалась... И я благословение, на фронт уходя, получил.

— От владыки Ферапонта?!

— Да. И, как видите, жив остался. И после Господу вот служить сподобился.

Савва смотрел на отца Флегонта с изумлением. Тот прервал неловкое молчание:

— Ты смиришь сердцем, брат Савелий! Бога-то не обманешь! А Господь наш милосерд, не оставит... Ко мне-то чего пожаловал? Помощь какая нужна?

Савва в ответ махнул рукой, торопливо попросился со священником, кивнул Степану и Лерке: догоняйте, мол. За угловой шатровой башенкой ограды, где начинался вновь отведённый погост и отсюда же тянулась дорога к Городку, он будто споткнулся, затоптался в нерешительности. Те три местные молодухи, что проходили мимо накануне, сидели, рдея щеками, на краю погоста и, разложив на траве нескудное угощение, с интересом разглядывали чужаков.

— Что стоите? Идите к ним, может, чего обломится!— со злостью подтолкнула Лерка Савву.— Я уйду, не помешаю.

Нахмуренный Савва подтянулся, порасправил плечи, забрал у Степана гитару:

— Один раз живём!..

По дороге с холма Лерка спускалась, опять гордо задрал подбородок, вышагивала широко, решительно, но в низине побрела сгорбленная, тихо, побитой собачонкой.

Савва этого не видел: примостившись со Степаном возле молодок и промочив горло предлощенной чарочкой, он начинал пробовать голос.

7.

Отец Флегонт проводил взглядом согбенную фигуру молодой женщины, тихо побредшей по дороге с холма в низину, видел он, и как привернули на край погоста к молодыхам Савелий с братом, слышал вскоре Саввин баритончик, выводящий слова разудалой песни.

«Так и не внял он моим словам,— подумав про Савву, хмыкнул священник.— Но грешно его осуждать-то: не судите, да не судимы будете— в Писании речено. И мудрее не скажешь...»

Он прижался спиной к шершавой грубой коре ствола липы, под которой притулилась лавочка, прикрыл глаза, подставив лицо нежарким лучам закатывающегося за дальний синий бор солнца. Вот так, с закрытыми глазами, в тишине, Одинцов мог легко перемещать, прокручивать в памяти всю свою долгую жизнь, и чем ближе сдвигалась она к началу, тем свежее и красочнее вставало перед мысленным взором то или иное.

Он отчётливо увидел вдруг сияющие позолотой где-то в недосыгаемой вышине купола собора в большом городе— городе его детства. Внутри обширной ограды вокруг храма толпился народ, но лица многих были не просветлённо-чистые, а злые, красные, потные, хоть и отмечался церковный праздник. Флегошу бы, пожалуй, в толчее стоптало— под стол ещё пешком ходил, но бабушка его, шустрая старушонка, сумела пролезть с внуком на самый край посыпанной свежим песком и забросанной цветами вперемежку с травой

тропинки, на которую не смели ступить, хоть и вдоль неё одни орали, другие крестились.

Шум внезапно смолк, когда на тропинке показался опирающийся на посох старичок в чёрном одеянии и высоком монашеском клобуке— владыка Феропонт. Но никто не встречал его у восходящей ступени вверх паперти. Окованные железом врата храма с гулким хлопком стремительно затворились, снаружи перед ними встали люди в кожаных куртках, и среди них— ухмыляющиеся криво попы-обновленцы.

— Иуды! Пустите архиерея!— заорал возле Флегоши нищий, и тотчас молодой здоровяк из толпы сунул кулачищем ему в уху.

Поднялась сумятица. Флегоша видел, как владыку Феропонта подхватили под руки двое, пытаясь вывести его из толчеи. По щекам в седенькую бородку архиерея скатывались слезинки.

— Опомнитесь! Пожнёте плоды горькие!

Да разве слышал кто его слабый голос в разгорячённой толпе?

Архиерейский возок куда-то делся, на месте его стоял автомобиль с хмурыми людьми в штатском. Владыка споткнулся, незряче выставил перед собой руки. Едва его усадили промеж двух угрюмых усачей, автомобиль, выпустив облачко сизой гари, резко взял с места. А в церковной ограде всё не могла утихомириться, бушевала толпа...

Отец Флегонт очнулся от забытья, услышав весёлые голоса возвращающихся по тропе краем карьера в деревню молодич, различил он в летних светлых сумерках и Савелия с брательником, которые, слегка пошатываясь, вышагивали по дороге к Городку и, оживлённо переговариваясь, видимо, очень довольные, хлопали друг друга по плечам.

— Господи, сколько ещё плоды-то пожинать...— с горечью вздохнул Одинцов и тут обмер сердцем, опять вспомнив о Василисе.

Он каждый вечер ездил на вокзал к приходу поезда: ещё неделю бы назад Василиса должна была вернуться из турпоездки в Питер, а всё ни слуху ни духу. Отец Флегонт дожидался, пока с перрона не разойдутся последние пассажиры, и, удручённый, возвращался. Хотел уж заявить в розыск, но удерживался, неудобно как-то: что люди в Городке подумают, какие сплетни поползут? Может, она у родни загостилась? Да примут ли её? Держи карман шире...

Всё этот её одноклассник, «новый русский», деда-дезертёра которого наверняка приходилось в молодости в войну по лесам гонять! Вился вьюном возле Василиски, глазами ел и охмурил девчонку!.. Позор! И что ей ещё надо?! В гараже новенькая иномарка стоит в подарок: всем любопытным сказано, что Василиса выиграла главный приз на «Поле чудес», пусть и ухмылялись люди—

не видал что-то никто её в той телепередаче. Всё для неё—и что можно, и что нельзя! «Подниму Василису—вину свою искуплю!»—только эти слова в голове всё время и толклись.

Отец Флегонт, по-прежнему прижимаясь спиной к стволу липы, поднял глаза на сияющие в прощальных лучах солнца кресты на куполах храма: на блёкло-фиолетовом фоне вечернего неба они, казалось, трепетали, потом вдруг, теряя очертания, расплылись...

Кто-то бережно обнимал старика, целовал в щёки мокрыми горячими губами, знакомо шептал: «Деда, дедушка!»

«Василиса! Вернулась...»—тихой радостью ещё успело встрепенуться у старого священника сердце.

А в осветившемся, как ясным днём, проёме ворот церковной ограды он узрел идущего к нему навстречу владыку Ферапонта в чёрном одеянии и высоком клобуке...

8.

Дом остался Степану от отца недостроенный: две избы, передняя и задняя, громоздились под наспех закиданной дранкой крышей; крыльцо уже подгнило, да и сам дом стал заваливаться набок, когда сдал под ним тоже второпях залитый в осенние заморозки фундамент. Дом всё больше напоминал несуразный гриб со съехавшей шляпой.

Степану до поры всё было даром. Но потекла крыша—в дождь плоски по чердаку расставляй, и нужда-неволя кровлю менять заставила. Подвернулось по схожей цене железо; Степан нанял жестянщика, и «уповодками», между выпивкой, с крышей управились. Любуясь потом работой, Степан задумал и фундамент ленточный кругом завести, чтобы дом ровно, свечечкой, стоял. В руинах бывшего городковского собора, сначала—тюрьмы, а потом—мастерских, он выковыривал и потом, как каторжник, таскал на тачке тяжеленные прочные кирпичи; мать морщилась, крестилась втихую, но молчала. Отломал крыльцо—затеял ставить новую просторную веранду.

На работе Степан держался ещё крепко, денежки водились, а в редкий запой покрывал начальник, бывший одноклассник.

Дошли руки и до баньки. Он срубил её из свежего кругляка, сложил печь. Напарившись первый раз, настегавшись вдосталь берёзовым веником, едва живой, выбрался на приступок у дверей. От перегрева сжимало сердце; Степан жадно хватал ртом воздух, и тут его словно пристукнуло: «Для кого стараюсь-то? Мать старая, сам...—он прислушался к неровным толчкам в груди.—Приедет сестра из своей экспедиции, она же геолог-бродяга, загонит всё—и поминай как звали!»

С того Степан затосковал, всё опять стало валиться из рук, а там и с работы за пьянку вышибли.

Но дом стоял как игрушечка...

Ночевать к Симке Степан ходил украдкой, принаравливался, чтобы сестра её работала в ночную смену; другая уехала куда-то учиться. Соскучившись за пару дней, он жадно мял податливое, мягкое Симкино тело, и та отвечала взаимностью. Умаявшись, они ненадолго затихали, но под утро Симка неизменно, толкнув локтем как следует Степану в бок, садилась у окна и, нагая, белея, как печка, в полутьме, курила.

— Узнает кто про нас—удавлюсь сразу, к чёрту!— между затыжками Симка говорила отрывисто, зло.— Давай собирайся, уходи— не увидел бы кто!

Степан, всякий раз задавив обиду, вставал, одевался и скукоженную, дрожащую на сквозняке Симку даже не обнимал на прощание. Он старался побыстрее прошмыгнуть длинным барачным коридором, чтобы не столкнуться с кем-либо из жильцов, вывернувшим по нужде в общий туалет; под окнами пробегал, пригибаясь. И дома перед матерью приходилось комедию ломать, прикидываться, что с жуткого похмелья, а насчёт ночлега—отшибло память.

Уходя опять вечером к Симке, Степан хитрил, предполагая, что мать следит за ним, долго мотался по улочкам, кружил, дожидаясь темноты.

Симка ждала его, хоть и старалась скрыть это. Но все гости были выпровожены; она оставляла свет только в кухоньке с тщательно занавешенным окном. Поглядывала вроде б как с любопытством, глазки поблёскивали, а Степан выставлял на стол посудину—добыть нелегко, но старался, что-нибудь потихоньку от матери продавал из дому.

Щёки Симкины розовели, Степан жадно сграбастывал её.

— Тише ты, дурачина...—Симка торопливо раскатывала тюфяк по полу: стенки в бараке как картонные, кашляны—и то слышно.

Однажды она, обнимая крепко Степана, с горечью прошептала:

— Ребёночка бы нам... Да нельзя—родня ведь! Говорят, урод будет, Бог накажет...

Вскоре Симка пропала; Степан узнал от сестры, что укатила она к подружке в дальнюю деревню. Он затосковал, дома не находил себе места, но, покрутившись возле Симкиного барака, не решался туда зайти: всякий раз Симку спрашивать—подозрительно.

Она сама нагрянула к нему. Матери, вот удача, не было, а Степан дотапливал баню...

Потом он, плеснув на каменку, захлёбываясь и обжигаясь паром, от души стегал веником растянувшуюся на полке и взвизгивающую Симку. Поменялись местами; и облепленная берёзовым листом Симка парила теперь Степана, но бережно и неторопливо.

Отдыхиваясь, они сидели впотьмах на приступке бани, предосенний воздух быстро охлаждал

разгорячённые тела; Симка придвинулась и прижалась к Степану.

— Я замуж, кажется, выхожу,— проговорила она не то смеясь, не то серьёзно.

Степан, вроде бы как понимая шутки, ткнулся носом в её мокрое плечо и поцеловал.

— На самом деле! Не сидеть же век у окошечка и тебя поджидать.

Он слышал от сестёр, что у Симкиной подружки есть в деревне брат, то ли пастух, то ли конюх, тоже застарелый холостяк. За него, что ли?

— Замёрзла ты, ерунду и городишь!— Степан, ёжась от холода между лопатками и клацая зубами, потянул Симку обратно в жаркое нутро баньки...

Симка и вправду на другой день уехала в деревню и запропала... Степан порывался туда съездить, да не решился: скверно, назовёшься братом, а на уме другое.

Вот так и дождался её, когда уж прихватило первым морозцем землю, в реке между хрупких ледяных заберегов стыла тёмная, будто свинцовая, вода, а из низких серых туч в беспросветном небе сыпала часто снежная крупка. От Симки остро пахло деревней: скотным двором, печным чадом, кислой шерстью. И говорила она теперь только о корове, об овцах, о том, как тяжело обряжать полный двор скотины, таскать от колодца большущие вёдра воды; о том, что свекровушка больная и обряжуха неважная, а муженёк или сожитель— до свадьбы ли?— денег домой носит мало, но отпустил вот на пару деньков в Городок родню попроведать.

Заметив, что Степан от её рассказней откровенно заскучал, Симка, ткнувшись губами ему в макушку и вздохнув, начала раздеваться. Увидев выпирающий её живот с выпяченным синим пупком, Степан округлил глаза.

— Мы когда с тобой в бане мылись, я уж беременная была,— созналась Симка.— Своего-то сейчас до себя не допускаю, а тебя...

Симкина кожа в слабо протопленной избе покрылась пупырышками; Степан, простонав, накинул Симке на плечи полушубок и, выбежав на улицу, подставил пыхнувшее огнём лицо секущей снежной крупе...

Запил он страшно, до синих чёртиков и чёрных карликов. Поволок всё из дому на продажу; мать было воспротивилась, да куда там— Степан в пьяной ярости отца оказался пострашнее. Мать, как в прежние времена при покойном ныне муже, сиганула однажды с перепугу в окошко. Или Степану это померещилось? Он, лёжа без сил на полу под распахнутым окном, изрядно подзамёрз и, кое-как поднявшись, закрыл створки рамы. На воле белым-бело— глаза режет! Что-то часто блазнить стало в последние дни. Или просто

«глядделки» болят? Из чёртиков и карликов сегодня появился только один, со знакомым обличьем и подбитым глазом.

— Да что ты, брат! Очухайся!

Савва!

— Ну и вонь!— Савва покосился на лужу блевотины под умывальником.— Пойдём-ка на волю, а то у тебя тут «крыша» запросто съедет!

Потянул тёплый ветер, снежок быстро истаивал, асфальтовая разбитая дорожка вдоль речного берега мокро блестела, с голых, с распяленными в вечернем небе сучьями деревьев срывались хлёсткие капли. Ёжась, братьельники подошли к воде: на поверхности колышущейся незамёрзшей стремнины отражались огни фонарей, окружающих обкорнанное, без куполов, здание заброшенного храма на другом берегу.

Савва посмотрел, куда бы присесть, облюбовал ствол подмытого ещё весенним паводком дерева. Степан, притулясь рядышком, стал рассказывать братьельнику и про Симку, и про себя, сипя от спазмов в горле, размазывая по лицу слёзы и не зоботаясь нисколько— понимает его Савва или нет.

Тот не судил и не сочувствовал:

— Ты, брат, забудь теперь побыстрей обо всём, не рви себя понапрасну... И женись-ка на сестре твоего друга Иосифа. Подружка детства твоя, сам рассказывал. Видел бы ты, какими глазами она тебя тогда, летом, провожала, если бы оглянулся!

— Так Танька же... не баба уж, инвалид!

— Человек. А один ты пропадёшь. Думай!..

Савва вздохнул, потрогал всё больше наливающегося синяк под глазом.

— Не повезло вот тоже. Слава Богу, ноги вовремя унёс... Приехал сюда— и дай, думаю, до тебя Лерку проведу. «Запал» я что-то на неё, серьёзно, всё о ней вспоминал. А там шалманище пьяное, двое или трое ўрок сидят. Я пру с дуру, а Лерка делает вид, что не узнаёт такого: ошибся, мол, гражданин номером. Я сразу, дурак, не сообразил, что к чему... Спасибо Лерке— ухорезов тех кое-как в дверях задержала, убежать мне дала... Видно, долго, брат, бродить мне неприкаянному. Прав старик Флегонт: Бога не обманешь!

Савва поднялся, оскальзываясь по берегу, выбрался на дорожку и запел:

Тихая моя родина!

Ивы, река, соловьи...

Степан заторопился за ним следом, всё ещё всхлипывая, попытался подтянуть.

Песня разносилась над подёрнутой хрупким ледяным панцирем рекой и гасла в шуме замерзающей стремнины, где всё ещё отражались пляшущие огни на перевёрнутом обкорнанном храме.